



Архимандрит КИПРИАН

Верующий вольнодумец

Так назвал себя сам Н. А. Бердяев в своем опыте философской автобиографии, посмертно изданной в Париже. Это, может быть, одна из самых ярких его книг и, во всяком случае, по своей откровенности самая значительная для суждения о его личности и его пути как мыслителя. Ее нельзя миновать, и, читая ее, на каждой странице хочется со многим согласиться и в то же время многое решительно отвергнуть.

Это, как предупреждает сам автор, не дневник, не воспоминания и не исповедь, а, скорее всего, история его философской судьбы. Кое-где только намечен известный культурно-исторический фон, но это не бытописание. Необходимые и интересные родословно-семейные данные, много объясняющие в складе мышления и в личности Николая Александровича; несколько значительных характеристик (Розанов, Вяч. Иванов, о. П. Флоренский); в конце книги — прекрасные строки личных настроений, предсмертных предчувствий, дум об итогах жизни...

Большинство читателей книга, конечно, совсем оттолкнет от автора, но некоторым она поможет лучше узнать интересные подробности из истории русской религиозной мысли. Скажем заранее, совершенно не предрешая последних оценок: в ней все время звучит неприкрытая искренность, «пафос правдивости». Критиков этой автобиографии найдется много; возмутит и смутит она не одного из «малых сих».

Обвинят, вероятно, Николая Александровича в излишнем внимании к себе; в том, что местоимение первого лица встречается чуть ли не в каждой фразе. Но таков неизбежно стиль вообще всех автобиографий и воспоминаний. Это вытекает из самой природы персонализма.

Упрекнут, конечно, Бердяева философы академического склада в несогласии с научно-философскими методами. Но тут

надо прежде всего понять, что самый метод мышления Николая Александровича в корне отличен от традиционного способа философствовать. Его экзистенциальное учение об объективации само по себе не может быть подчинено никаким школьным методам. Все авторитеты, принципы и законченные системы воспринимаются и могут быть им воспринимаемы только экзистенциально, т. е. только изнутри. Что-либо экзистенциально не пережитое останется для Бердяева всегда «объективированным». Можно вообще не принимать экзистенциально-персоналистического подхода к философии, но нельзя пытаться подчинять его тем требованиям, которые сами по себе ему противоположны. Нельзя «отнести мыслителя к категориям, в которые он никак не может вписаться».

Не простят Бердяеву и противоречий самому себе. Это он, впрочем, неоднократно признает и сам; его восприятие падшего мира все полно конфликтов и трагической раздвоенности, которых не избежать и ему самому. Оптимистическим иллюзиям нет места в этом надломленном грехом мире. Бердяева нельзя понять, не приняв как неотъемлемую от него, ему присущую, изначальную противоречивость. Даже больше: та многоплановость в каждом из нас, та сложность и неустойчивость всякого мыслящего и одаренного человека, которых большинство стыдится или, во всяком случае, старается лучше скрыть, Николаем Александровичем честно признается, им воспринята как нечто врожденное и неумолимое. Гармонии в этом мире нет и не может быть, так как мир этот расщеплен и трещина проходит во всех планах бытия: этическом, социальном, интеллектуальном. Бердяев имеет мужество сам признать сложность своей личности и склонность к конфликтам.

Отсюда и чувство одиночества, столь известное натурам, ему сродным: Ибсену, Леонтьеву, Киркегарду, Блуа. И признание этого одиночества вовсе не есть рисовка и поза писателя. Это его самое исконное и в нем неистребимое, так как это неизбежный спутник всякой яркой личности. Леон Блуа как-то сказал одному близкому человеку: «Я совсем не современник, и я никогда не был у себя дома». То же и у Бердяева: чувство противоречия со всем и, что еще трагичнее, с самим собой, так как невольно и он сам составляет часть этого мира, к которому принадлежит и который не может и не хочет принять. «Я нахожусь в совершенном разрыве со своей эпохой, — говорит он. — Я воспеваю свободу, когда моя эпоха ее ненавидит, я не люблю государства и имею религиозно-анархическую тенденцию, когда эпоха обоготворяет государство, я крайний персона-

лист, когда эпоха коллективистична и отрицает достоинство и ценность личности, я не люблю войны и военных, когда эпоха живет пафосом войны, я люблю философскую мысль, когда эпоха к ней равнодушна, я ценю аристократическую культуру, когда эпоха ее низвергает, наконец, я исповедую эсхатологическое христианство, когда эпоха признает лишь христианство традиционно-бытовое».

Он часто говорит, что у него «никогда не было чувства происхождения» от родителей; что он «не любит семьи и семейственности», что он отталкивается от родовой жизни, не любит общества. Это *все*, казалось бы, должно ограждать его личность от всего неличного, от власти рода и унаследованности от прошлого. Но не абсолютизируется ли в данном случае содержание понятия личности?

Как же объяснить иначе такие признания и утверждения Николая Александровича? Откуда же его «господская психология»? Откуда «любовь к русской деревне и связь с помещичьим бытом», любовь к уюту, к духам и сигарам? Откуда же в его природе «кавалергардские инстинкты, которые им были задавлены», его «феодалная закваска», этот «феодал, сидящий в замке с поднятым мостом и отстреливающийся»? Откуда «отталкивание от прыщика на лице или пятна на башмаке» и вообще его брезгливость? Откуда это влечение «к фамильной мебели, портретам предков на стенах, генералов в лентах, в звездах, с георгиевскими крестами», и такое понимание Леонтьева, и весь тот пафос, который когда-то наваял ему его яркую и замечательную книгу «Философия неравенства»? Не более ли прав Бердяев, когда он признается, что «в моем “я” есть многое не от меня»?

В этой связи надо отметить его мысли о низком культурном уровне революционных деятелей, о том, что *по-настоящему* они не любили свободу, о своей личной борьбе с интеллигентской общественностью, о своем отталкивании от «литературщины» того времени, где «не слово становилось плотью, а плоть словом», о погроме высокой русской культуры, о «самоубийстве интеллигенции».

И в этой сложности своей богатой противоречиями природы Н. А. совершенно искренен и вполне прав, говоря, что «одни и те же мотивы привели его к революции и религии». Таков уж его пафос свободы, который не мог никогда вписаться в душевные условия какой бы то ни было партийной идеологии. Но бунт, приведший от марксизма к христианству, и типичный для Бердяева и ничем не ограниченный примат свободы и экзи-

стенциальной убежденности только в своей правоте не дал ему приобщиться к церковной полноте. Правда, он утверждает, что он «свободный христианин, не порвавший с церковью», что он «не сектант» и не «еретик», но тут же заявляет, что «никогда не претендовал на церковный характер своей религиозной мысли» и не признает «никакой навязанной ему ортодоксии».

Мы не собираемся оспаривать некоторые идеи Николая Александровича, например о добытийственной свободе, о его понимании ада, которые в известном смысле не так уж страшны и неприемлемы, если захотеть их понять без предвзятости и без желания обязательно «обличать» и искать ересь даже там, где ее и нет. Надо сказать о другом: о мучительно, по-видимому, неприемлемой для его «экзистенциально-драматического отношения к Богу» *тайне* Церкви. Он прав, что «соборность и церковное сознание — не внешний авторитет» и что «нельзя экстериоризировать моей совести в церковном коллективе», он прав, когда говорит отрицательно о «церковных процессах» и о всей вообще греховности, которая может проявиться в церковной эмпирии.

Но не это важно для жизни в Церкви. Надо слиться с мистической природой ее, безбоязненно в нее окунуться и жить ею или, скажем его же словами, экзистенциально в нее войти. Из личных бесед с ним сохранилась в памяти его боязнь принятия Церкви как высшего бытия, боязнь «иерархического персонализма» в таком приятии Церкви. Тот, кто лично всегда хорошо относился к Николаю Александровичу и не перестал его любить, независимо от некоторых его утверждений и противоречий, вправе спросить: почему, если мыслитель признает «тайну познания», «тайну Бога» и не поддается соблазну дурного рационализирования в этой области, почему он не хочет признать, что есть еще и *тайка* Церкви?

Если бы у него хватило мужества для такого кенозиса себя в Церкви, мужества приять ее со всей ее апофатикой и антиномичностью, как он это делает в отношении к Богу, то он никогда бы не отрицал сакраментально-литургического момента в жизни Церкви, не говорил бы так недобро о «религиозном млении» (?), о своей нелюбви к церковно-славянскому языку, об «униженности в пластическом выражении христианства», т. е. поклонах, о «некрасивости *официальной церковности*», о «бесстыдстве в богословии», не позволил бы себе столько неверных и поспешных суждений о той области, в которой ему, несмотря на богатство его дарований, не было чего-то дано. Надо понять, что нельзя приять Христа без Церкви, что внецерковное хрис-

тианство бесплодно, так как оно превращено в отвлеченное умствование о божественном, и скучно, так как замкнуто в границы философской этики. А для Николая Александровича Церковь, к сожалению, осталась такой же «объективацией», как и многое другое.

Но есть какая-то безответственность в утверждениях своей любви к социальным реформаторам, но нелюбви к государственным деятелям и учреждениям, и при признании тут же того, что он не отрицает необходимости государственных функций; в «уважении к военным во время войны и нелюбви к ним во время мира» вплоть до вызывающего улыбку «плохого настроения от встречи с военным на улице»; в принципиальном неприятии коммунизма и вместе с тем в отрицательном отношении к эмигрантским настроениям — этим полна вся книга; в проповеди бунтарства, но не террора; в предчувствии судеб истории и в «мучительной нелюбви к истории» и ее «массивности».

Надо помнить, что в такие страшные моменты истории, как наш, нельзя, касаясь этих тем, заявлять себя только мыслителем и не занимать в историческом процессе никакого ответственного места. Отвлеченный мыслитель пусть не покидает своих метафизических и трансцендентных высот, но, раз покинув их и спустившись на землю, раз коснувшись этих больных язв, он не *смеет* говорить о них с такой безответственностью. На участниках нашего исторического процесса — а Н. А. не может от этого отказаться — лежит моральный долг выбрать решительно свою позицию и сказать безо всяких обиняков, с кем он и за кого. Нельзя, касаясь этих тем и не будучи с одними, в то же время не принимать тех, кто не с ними. Слишком дорого нам стоил опыт «социального реформаторства», слишком много пролито крови и слишком жестоко страдают и Россия и все человечество, чтобы в утверждении своей персоналистической свободы и в порицании коммунизма не найти своего места в среде тех, кто против него. Это — свобода безответственности.

